

Александр Исаевич Солженицын. Желябугские выселки

1

Четвертый день, как мы вдвинулись в прорыв на Неручи. Прошлые сутки моя центральная стояла в трубе под железнодорожным полотном, там крепкая кладка, хороша от бомбежки. Еще и крестьянских баб с детворой там набилось до нас, да два десятка откуда-то взявшихся цыганок и цыган угнездились, - странно было после нашего двухмесячного стоянья в гражданском безлюдьи. А этой ночью в 3 часа дали моей батарее отбой: продвинуться. Пока свернули все посты - уже и свет. И, еще до самолетного времени, перекатили в Желябугские Выселки.

Это называется - перекатили. Звукобатарее полагаются по штату шесть специально оборудованных автобусов, у нас же - драные трехтонка и полутонка. Они везут только боевое и хозяйственное, да при том нескольких сопроводителей, остальная батарея нагоняет пешим ходом. Ее ведет обычно лейтенант Овсянников, командир линейного взвода, а командир измерительно-вычислительного Ботнев, как и я, - гоним, в кабинах, выбирать центральную станцию.

Это - захватный момент: весь боевой порядок определяется выбором центральной станции. Чем мгновеннее выбрать ее - тем быстрее и безопасней развернемся. Но и выбрать - безошибочно, она - сердце батареи; осколок в сердце - и всей батареи как нет. Вкопать и брезентом перекрыть - в поле ржаном и так бывало, но это - с горя и накоротке.

Я четвертые сутки обожжен и взбаламучен, не улегается. Все, все - радостно. Наше общее большое движение и рядом с Курской дугой - великанские шаги.

И какое острое чувство к здешним местам и здешним названиям! Еще и не бывав здесь - сколько раз мы уже тут были, сколько целей пристреливали из-за

Неручи, как выедали из карты глазами, впечатывали в сетчатку - каждую тут рощицу, овражек, перехолмок, ручеек Березовец, деревню Сетуху (стояли в ней позавчера), Благодатное (сейчас минуем слева, уже не увидим) и Желябугу, и, вот, Желябугские Выселки. И в каждой деревеньке заранее знали расположение домов.

Так, правильно: Выселки на пологом склоне к ручейку Паниковец. И мы - уже тут, докачались по ухабистому съезду с проезжей дороги. Пока самолетов нет - стали открыто. И - ребятам в кузова:

- Дугин! Петрыкин! Кропачев! Разбегайся, ищи, может где подвал.

И - прыгают горохом на землю, разбежались искать. В Выселках уже кой-кто есть: там, здесь грузовики, вкопанные передами, наклоном, в аппарели. Минометы (уезжают вперед). Дивизионные пушки - правее, на той стороне лощинки. А я пока - по карте, по карте: куда пускать посты. Перед нами на запад - Моховое, оно крупное; у немцев до него еще на той неделе доходили и поезда, разгрузались. Моховое - будут держать, тут, наверно, постоим.

Приблизительно намечаю посты. (Точно выберет только Овсянников.) Они по фронту должны занимать километров пять (по уставу даже и до семи, но мы устав давно поправили, никогда шесть постов не разворачиваем, лишнее, а по нужде-спешке так и четыре; сейчас - пять). А впереди постов нужно найти место нашему наблюдателю - посту-предупредителю. Он должен стоять так (частенько в окопах пехоты), чтобы каждый звук от противника слышал раньше любого из крайних постов и - по выбору своему, тут искусство - решал, на какой звук нажать кнопку, запустить станцию - а на какой не нажимать.

- Нашо-о-ол! - кричит на подбеге кто же? наш "сын полка", 14-летний Митька Петрыкин, подобранный от начисто разоренного войной Новосила - когда-то уездного, сейчас холмового белокаменного немого стража у слияния Неручи с Зушей. - Таащ старш... лет... по-о-огреб! Хороший!

Мы с Ботневым быстро шагаем туда. Как строят здесь - не под домом, а отдельно, с кирпичным обвершьем, дальше дюжина ступенек вниз. Но погреб не

прохладный, душный: надышали за ночь-другую-третью ночлежники - хозяева ли, соседи - прячутся тут и вещей же натащили. Зато арочный кирпичный свод - лучше некуда.

Так нам странно и так радостно видеть живых русских крестьян, около домов - огороды живые, а в поле - хлеба. По советскую сторону фронта все жители, из недоверия, высланы на глубину километров двадцать, третий год ни живой души, ни посева, все поля заросли дикими травами, как в половецкие века.

(Но ты - обеспложенную, обезлюженную - еще щемливее любишь. Приходит отчетливо: вот за это-то Среднерусье не жалко и умереть. Особенно - после болот Северо-Западного.)

А по немецкую сторону едва мы шагнули и видим: живут!

В погребе смотрят на нас с опаской. Нет, не выгоняем, свои:

- Придется, друзья, придется потесниться вам поглубже. А спереди - мы тут займем.

Бабы - мужиков нет, старик древний, ребятня - мягко охают: куды подвигаться? Но лица все такие родные. И рады, что не гоним вовсе.

- Да щас вам ребята мешки-корзины туда перекинут повыше, один на один.

Давай, ребята!

Как ни теснись, а места надо порядочно: и для самого прибора и для четырех малых столиков складных. Но, кажется, поместимся.

Выбрать место центральной - это был первый подгоняющий вихрь. Теперь второй: скорей спускать станцию в подвал. На это с нами и силы приехали: Дугин и Блохин - два сменных оператора на центральном приборе, и еще из вычислительного взвода.

Пошел вверх.

С востока обещательная розовость уже поднялась до вершины неба. И так выявились, до тех пор не видные, редкие перистые облачка.

Но - обещательно же возникает и самолетный гул. Как надоели, проклятые,

до чего пригнетают.

А - нет. Нет-нет! Наши летят!

С этой весны - наши все чаще в небе. И мы распрямяемся. В обороне стояли - ночами, в далекий бомбовый налет, с груженным гудом все чаще плыли большими группами наши дальние бомбардировщики. (И что мы так рады? ведь это - по нашим же русским городам.) Когда по Орлу - то и видели мы за шесть десятков верст: пересеченные прожекторные лучи, серебряные разрывы зениток, красные ракеты и молненные вспышки от бомбовых взрывов. А недавно узнали мы и торжествующие волны низкого возврата с ближней операции - Илов, штурмовиков, - и "ура" кричали им под крылья, это - прямая нам помощь тут, рядом.

Пролетают наши в высоте. Рассчитано точно, чтоб немцев заслепило: как раз выплывает край солнца.

Вычислительный взвод - слаженно работает, привыкли. Осторожно сняли из кузова центральный прибор, понесли вниз. И - столики за ним, и все измерительно-чертежное. А линейщики снаружи у подвала штабеляют проводные катушки с бирками постов: подключаться будем - тут, все линии потянем - отсюда. А старшина Корнев, распорядительный хозяин, выбрал для кухни местечко - пониже в кустах, не слишком прикрито, но одаль от изб: по избяному порядку вполне пройдутся сверху пулеметами. И около ж кустов указал шоферам рыть аппарели для машин - и сам, здоровяк, им помогает: главно - хоть сколько-то принизить моторы в землю. Все б это нам успеть поскорей.

Хожу, нервничаю, курю. Бессмысленно разворачиваю планшетку и снова, снова смотрю карту, хоть почти на память знаю.

Солнце взошло на полную. Облачка тают.

По склону от нас поднимается одна улица Выселок - уже и на ней нарыто свежих густо-черных воронок. А за малым овражком направо - плоская вторая улица. Там - батарейка семидесяти-шести развернута. Избы - как неживые: кто по погребам, кто в перелески подался. Ни одного дыма.

Ну же, ну же, Овсянников, да не столько же тут ходу.

А ведь идут! - открытой вереницей поднимаются из котловинки. И без бинокля чую, что - наши. Бодро идут, Овсянников ход задает. И вот сейчас, приблизятся, будет третий вихрь: каждый звукопост разберет свою аппаратуру, катушки, свои вещмешки, свой сухой паек - и за эти считанные минуты Овсянников должен по карте, уже на свою прикидку, уточнить места звукопостов; смеряя силы команд, назначить, кому первый, второй... пятый, и каждому начальнику звукопоста промахнуть отсюда по местности направление, как ему вести, чтоб не сбиться, азимут. А предупредителю - еще особо. И вот эти десять-пятнадцать минут, пока вся батарея сгущена, - самые опасные. Рассредоточимся, не все шестьдесят в кучке, - будет легче.

Подходят наши, подходят - а дальше как по писаному, заученное. Посты хватко собираются на развертывание.

С Овсянниковым садимся на поваленный ствол - поточней прикинуть места постов.

Кто-то перебранивается из-за катушек, чужую хорошую утащил, оставил с чиненным проводом.

Лица у всех - невыспатые, примученные. Пилотки на головах сбиты у кого как. Но движенья быстры, всех держит это сознание: мы - не просто в какой-то безымянной местной операции, мы - в Большом Наступлении! Это много сил добавляет.

Линейные привязали концы - и потянули двухпроводные линии.

А от немцев уже летит - благородно хлюпающий крупный снаряд - через головы наши - и ба-бах! Наверно по Сетухе, при большой дороге.

И - первая сегодня "рама", двухфюзеляжный разведчик Фокке-Вульф, высоко, устойчиво завис, погуживает, высматривает, по кому стрелять. Наши зенитки не отзываются, да в "раму" почти бесполезно бить, всегда уклонится.

И - еще туда, на Сетуху, несколько тяжелых пролетело.

Пока утро прохладное - нам бы и засекать. Не вовремя нас передвинули.

На каждом звукопосту - 4-5 человек, а нести - тяжело и много, от одного аккумулятора плечо отсохнет; катушек бывает нужно по восемь, а то и больше десятка; звукоприемник - не тяжелый, но трудноохватный куб, и еще береги его пуще уха, повредишь большую мембрану, а то - осколком просечет? Еще трансформатор, телефон, другая мелочь. И автомат, у кого карабин, саперные лопатки - все и тащи. (Противогазов уже давно не носим, все в кузова сбросили.)

Коренастый Бурлов повел своих на первый, левый; компас у него на руке, как часы, он азимут всегда сверяет, точно идет. У него в команде - и долговязый, всегда невозмутимый, всепереносный сибиряк Ермолаев, - на крайние посты Овсянников подбирает самых крепких. И Шмаков, как бы полуштрафник: в противотанковой не выдержал прямого боя, сбежал, куда глаза, попал на наш порядок. А у нас тоже от дезертиров не достача, комиссар махнул, сказал: "Бери его!" И - верно служит.

Сметливый Шухов (в ефрейторы мы его повысили, вместо сержанта раненого) повел своих на второй. - Угрюмый черный Волков - на пятый, правый, северный, тоже дальний. - А средним звукопостам линия будет покорооче, катушек меньше, у них и людей по-четверо.

С конопатым хмурым Емельяновым советуемся и по карте (когда бывает лишний экземпляр, то - и для него): предупредитель - работа тонкая, почти офицерская, а по штату ему так и ходить старшим сержантом и всегда попереди всех. На каждый нужный звук выстрела ему надо не упустить и полсекунды, и на слух определить калибр. (Потом, кто поближе к разрыву, еще подправит.)

Оживился передний край - минометная толчея с обеих сторон. Из наших Выселок семидесяти-шестерки уже и палят - а мы еще когда будем готовы. А спрос - не терпит.

У Овсянникова - ноги зудят обогнать крайний пост: важен не только последний выбор ямки для звукоприемника (а солдаты выбирают, где им легче устроиться, да ближе к воде) - но и ближайшее окружение чтоб не

экранировало. (Был случай: шел дождь, так в сарай занесли, а мы удивляемся, что за черт: все записи не резкие?) И - пошагал догонять Бурлова.

Сзади - еще одна группка пешая к нам. По полосатым шестам, по треножникам видно - топографы. Вот вы - давайте скорей! эт-то нам надо!

Группку привел командир взвода лейтенант Куклин, милейший мальчишок, и лицо мальчишеское и рост. Мой Ботнев, не намного взрослей, выговаривает ему:

- Вы что долго спите? Без вас наши координаты на глазок, кому годятся?

И правда: нас проверяют придирчиво, и все промахи в целях, в пристрелке - на нашу голову. А кто пошагает проверять топографов? - такого не бывало. Ошибутся они в привязке - и будем все цели ставить нетам.

Присел я с Куклиным показать ему, где будут посты. Прошу:

- Юрочка, нет, не торопись. Но сделайте сперва три ближних поста, хоть для первой засечки. И сразу гони нам цифры.

Говорит: видели на ходу наш 3й огневой дивизион, сюда близко перекачивает, еще не стали.

Куклин повел свою цепочку к первому ясному ориентиру, от него пойдет на шуховский. (Ориентир - он с карты снимается, это тоже неточно. А тригонометрической сети в перекатных боях никогда не хватит.)

Не скажешь, у кого на войне работа хуже. Топографы вроде не воюют- а ходить им с теодолитами, с нивелирами, ленты тянуть по полям - прямо, как ворона летает: не спрашивай, где разминировано, где нет, и в любой момент под обстрел попадешь.

А - уже нашли нас бригадные связисты. И тянут кабель на центральную, катушечники их поднимаются к нам от запруженного ручья.

Да кто - нашли? Не от огневых дивизионов, с которыми работать, те сами в переходе. Тянут - от штаба бригады, конечно, - и вот-вот оттуда начнут требовать целей.

Да только б и засекать нам с утра, пока воздух не разогрелся. Уже и долбачат немцы: вот один орудийный выстрел, там - налет, снарядов с десятком,

- так мы еще не развернуты. А дневная работа будет сегодня плохая: станет зной, уже видно, и создастся тепловая инверсия: верхние воздушные слои разрежаются от нагрева, и звуковые сигналы будут не загигаться вниз, к земле, а уходить вверх. Да это и на простой слух: снаряды, вот, падают, а сами выстрелы все слабее слышны. Для звукометристов золотое время - сырость, туман, и всегда - ночь напролет. Тогда записи исключительно четкие, и цели - звонкие ли пушечные, глухие гаубичные- тут же и пойманы.

Но начальство никак этого закона не усвоит. Были б с умом - передвигали б нас днями, а не ночами.

Мы, инструментальный разведдивизион, - отдельная часть, но всегда оперативно подчиняют нас тяжелой артиллерии, сейчас вот - пушечной бригаде. Сегодня нам будет парко: сразу два их дивизиона обслуживать: 2й- правей, к Желябуге, 3й - левой, к Шишкову.

У Ботнева в погребе уже втеснились: включили, проверили. Большой камертон позуживает в постоянном дрожании лапок. Чуть подрагивают стрелки на приборах. Все шесть капиллярных стеклянных перышек, охваченные колечками электромагнитов, готовы подать чернильную запись на ленту. У прибора сейчас - худощавый, поворотливый Дугин. (Он - руковитый: каждую свободную минуту что-нибудь мастерит - кому наборный мундштук, кому портсигар, а мне придумал: из звукометрической ленты шить аккуратные блокноты, для военного дневника.)

Сбок прибора на прискамейке уткнулся телефонист, разбитной Енько. На каждом ухе висит у него по трубке, схвачены шнурком через макушку. В одну трубку - предупредитель, в другую - все звукопосты сразу, все друг друга слышат, и когда сильно загалдят - центральный их осаживает, но и сам же до всех вестей падок: где там что происходит, у кого ведро осколком перевернуло.

А сразу за прибором - столик дешифровщика. За ним вплотную, еле сесть, столик снятия отсчетов. А к другой стене - столик вычислителя и планшет на

наклонных козлах. В подвальном сумраке - три 12-вольтовых лампочки, одна свисла над ватманом, расчерченным поквдратно. Готовы.

Федя Ботнев в военном деле не лих, не дерзок - да ему, по измерительно-вычислительному взводу, и не надо. А - придирчиво аккуратен, зорок к деталям, как раз к месту. (Да даже к каждой соседней части, к технике их любознателен, при случае ходит приглядывается. Кончил он индустриальный техникум.) Любит и сам стать за планшеты, прогнать засекающие директрисы.

Но весь ход каждого поиска зависит от дешифровщика. У нас - Липский, инженер-технолог, продвинули мы и его в сержанты. Когда в работе не спешка - его единственного в батарее зову по имени-отчеству. (С высшим образованием у меня в батарее и еще есть - Пугач, юрист. Очень убедительный юрист, всегда лазейку найдет, как ему полегче. Не во всякий наряд его и пошлешь: то "помогает политруку", то "боевой листок выпускает".)

В глубине погреба бормочут глухо:

- Ну, стуковня! Ну, громовня...

- Да как бы мне пойтить глянуть: брадено у меня чего, аль не брадено?

Один таз малированный остался, чего стоит.

- Всего имения, Арефьевна, не заберешь. Утютюкают напрямь - смотри и избы не найдешь.

- Ну, дай Бог обойдется.

А снаружи - разгорается, уже в светло-желтом тоне, солнечный, знойный день. И те крохотные облачка растянуло, чистое-чистое небо. Ну, будет сегодня сверху.

У Исакова в кустах кухня уже курится.

Шофера усиленно кончают вкопку своих машин, помогают им по свободному бойцу. Ляхов - высокий, флегматичный, никогда и виду не подаст, что устал, не устал. А маленький толстенький Пашанин, нижегородец, разделся до пояса, и все равно мохнатая грудь и спина потные, лоб оттирает запястьем. Имел он

неосторожность рассказать в батарее о горе своем: как бросила его любимая жена, актриса оперетты, - и стал он общий предмет сочувствия, однако и посмеиваются.

Еще ж у меня Кочегаров околачивается, политрук батареи, а в напряженный момент, когда все в разгоне, - ну не к чему его пристроить, и работать не заставишь. Сам-то был на гражданке шофер, да только - райкома партии, и теперь взять лопату на помощь Пашанину - не догадается.

Первый звонок - с третьего поста, ближнего: дотянули, подключились, вкапываемся. На них и аппарат сразу проверили: хлопайте там (перед мембраной). Так. И выстрелы пишет. Порядок.

Но когда над одним постом пролетит самолет - то уж, с захватом, испортит запись трех постов.

От погреба расходящиеся веером линии - вкапывают линейные, каждый свою. На полсотню метров, чтобы в сгущеньи ногами не путаться - и чтоб хоть тут-то оберечь от осколков.

А уж - летят!! Летит шестерка Хеншелей. Сперва высоко, потом снижают круг левее нас. Хлоп, хлоп по ним зенитки. Мимо. Отбомбились, ушли.

Наши тут несколько квадратных километров вдоль передовой густо уставлены: минометами легкими и тяжелыми, пушками сорокапятками и семидесяти-шести, гаубицами ста-семи, всякими машинами полуврытыми, замаскированными - бей хоть и по площади, не ошибешься.

Меж тем в погребе еще три места надо найти - для телефониста бригадного и от двух дивизионов. От поваленной липы отмахнули наши пилой - без двуручной пилы не ездим - три чурбачка, откатили их туда, вниз.

Ляхов - ввел свой приопустевший ЗИС в апарель.

И пашанинский ГАЗ спустили. Ну, теперь полегче.

Со второго поста Шухов докладывает, чуть пришипячивая: дошли!

И их проверили. Порядок.

Доходят-то они все приблизительно, и еще любят сдвинуться, себе

поудобней. Но пока Овсянников не проверит - копать им, может, и зря.

Из погреба крик:

- Таащ комбат, вызывают!

Ломай быстро ноги по кирпичным ступенькам.

Так и есть, бригада: сорок второй, ждем целей!

Отбиваюсь: да дайте ж развернуться, привязаться, вы - люди?

А - доспать бы, клонит. Смотрю на ребят в погребе - и они бы.

- Ну, пока нет работы - клади головы на столы!

И приглашать не надо - тут же кладут. Это последний льготный полчасик.

Солнце поднимается - жары набирает.

Подключился и четвертый пост, и предупредитель. На трех постах уже можно грубо прикидывать - хоть из какого квадрата бьет.

От начала работы у центральной дежурят двое линейных: бежать по линии, какую перебьют - сращивать. А от каждого поста - бегут навстречу, так что на один перебив два человека, никогда не знаешь, ближе куда. Починка линий - всего и опасней: ты открыт и в рост, как ни гнись, а при налете - шлепайся к земле. Когда огневого налета в зримости нет - дежурный линейный и сам бежит, дело знает. А при горючей крайности - кто-то должен решить и послать. Если Овсянников здесь - то он, а нет - так я. Но по смыслу работы - и без офицеров, сержант от центрального прибора сам гонит, он отвечает: не хватит звукопостов, не засечем - может быть больше урона. А каждый такой гон может стоить линейному жизни, уже потеряли мы так Климанского. А как раз когда порывы, когда снаряды летят - тогда-то и засечка нужна.

Сейчас - Андрояшин, вот, дежурит. Сел на землю, спиной об кирпичную арку. Проворный смугленый, невысокий, уши маленькие. Только-только взятый, с 25го года. Я прохожу - вскочил.

- Сиди, не навстаешься!

Но, уже вставши, сверкает темными просящими глазами:

- Таащ старштенант! А вы меня в Орле часа на три отпустите?

Он - из Орла. Рос беспризорником, а какой старательный в деле. Хоть
бессемейный, а есть же и ему в Орле кого повидать, поискать.

- Еще, Ваня, до Орла добраться. Погоди.

- А - когда дойдем? Я - нагоню, нагоню вас, не сомневайтесь!

- Отпущу, ладно. Да может - и надольше. Неужели ж мы в Орле не постоим?

- И бурловский! - из погреба кричат навстречу мне.

Крайний левый! Теперь мы - в комплекте.

Дугин руки потирает:

- О то розвага! Ве-се-ло!

Отдается ему из глубины:

- Хорошая у вас весельба.

Ну, теперь не пропадем, засекаем. Привязку бы. (До привязки посты на
планшете поставлены пока грубо, как наметили их по карте.)

На передовой - толченый гуд перестрельной свалки. Но - всплесками. И
если артиллерийский выстрел попадает в промежуток - то мы его берем.

У Исакова - каша готова. Побежала посменно центральная с котелками.

А в воздухе - зачастили, закрылили и наши, и немцы - но наших больше!
Схватки не видно, те и другие клюют по передовым. Там - большая стычка, и по
земле взрывы отдаются, вот и засекай.

Емельянов с предупредителя:

- Пока сидим с пехотой, своего не отрыли, не дают. И покрывать нечем.

Пташинского - как не поцарапало? - пуля погон сорвала.

Пташинский, его сменщик на предупредителе, - ясный юноша, светлоокий,
очень отчетливый в бою.

Все-таки две цели мы пока нащупали, уже и пятью постами - 415ю и 416ю.
Наша задача - координаты; калибр - это уж по ушному навыку, да и по
дальности можно догадаться.

Из бригады донимают:

- Вот сейчас по Архангельскому - (это там со штабом рядом) - какая

стреляла?

- От Золотарева-третьего, 415я.

- Давайте координаты!

- Без привязки - пока не точно...

Отвечают матом.

Дошагал Овсянников с постов, километров десять круганул. Пошли с ним хватнуть горячего. Сели на лежачую липу.

Простодушного Овсянникова, да с его владимирским говорком, - люблю братски. Курсы при училище проходили вместе, но сдружились, когда в одну батарею попали. На Северо-Западном, в последний час перед ледоходом на Ловати, он сильно выручил батарею, переправил без облома. Или тот хутор Гримовский нас скрестил - весь выжженный, одни печные трубы стоят, и немцами с колокольни насквозь просматривается. Центральная вот так же в погребке, а мы с ним сидим на земле, ноги в щель, между нами - котелок общий. Так пока этот суп с тушенкой дохлебали - трижды в щель спрыгивали от обстрела, а котелок наверху оставался. Вылезем - и опять ложками таскаем.

Тут-то, за нашим склоном, Желябугские Выселки немцу прямо не видны, только с воздуха. Кручу махорочную цыгарку, а Виктор и вообще не курит. Рассказывает, как и где посты поправил. Кого, по пути идучи, видел, где какие части стоят. В Моховом у немцев виден сильный пожар, что-то наши подожгли.

- Натя-агивают. Будем дальше толкать, не задержимся.

Не докурил я, как слева, от главной сюда дороги - колыхаются к нам, переваливаются на ухабинках - много их! Да это - "катюши"!

Восемь машин полнозаряженных, дивизион, они иначе не ездят. Сюда, сюда. Не наугад - высмотрел им кто-то площадку заранее. И становятся все восьмеро в ряд, и жерла - поднимаются на немцев. От нас - двадцать метров, в такой близи и мы их в стрельбе не видели. Но знаем: точно сзади стоять нельзя, вбок подались. И своим - рукой отмахиваю, предупреждаю, все вылезли

лупиться.

Залп! Начинается с крайней - но быстро переходит по строю, по строю, и еще первая не кончила - стреляет и восьмая! Да "стреляют" - не то слово. Непрерывный, змееподобный! - нет, горынычеподобный оглушающий шип. Назад от каждой - огненные косые столбы, уходят в землю, выжигая нацело, что растет, и воздух, и почву, - а вперед и вверх полетели десятками, еще тут, вблизи, зримые мины - а дальше их не различишь, пока огненными опахалами не разольются по немецким окопам. Ах, силища! Ах, чудища! (В погребе от катюшиного шипа бабы замерли насмерть.)

А крайняя машина едва отстрелялась - поворачивает на отъезд. И вторая. И третья... И все восемь уехали так же стремительно, как появились, и только еще видим, как переколыхиваются по ухабам дороги их освобожденные наводящие рельсы.

- Ну, щас сюда по нам жарнет! - кто-то из наших.

Да и не жарнет. Знают же немцы, что "катюши" мигом уезжают.

Идем с Овсянниковым досиживать на липе.

Чуть передых - мысли лезут пошире.

- Да! - мечтаю. - Вот рванем еще, рванем - и какая ж пружина отдаст в Европе, сжатая, а? После такой войны не может не быть революции, а?.. это прямо из Ленина. И война так называемая отечественная - да превратится в войну революционную?

Овсянников смотрит мирно. Помалкивает. С тех пор, как он нашел у немцев бензинный порошок, - уже не верит, как пишут в газетах, что немцы вот-вот без горючего останутся. А беспокой у него - о предупредителе:

- Им там - головы не высунуть, не то что кипятку. - Окает: - Плохо им там. Посмотримте по карте: на сколько я могу перенести их вбок? назад? Я их быстро перетяну, даже без отключки.

Померили циркулем. Метров на триста-четырееста можно.

Пошел - шагастый, неутомимый.

А Митька Петрыкин, вижу, ладит, как бы ему в пруду искупаться. Зовет свободных вычислителей, те щели роют.

А вот и притянули к нам: справа - от 2го дивизиона, слева - от 3го. Вкапывают свою подводку и они. Наша центральная станция, по проводам, - как важный штаб, во все стороны лучами. В погреб втиснулись теперь и они все трое, на чурбачки, а телефоны уж на коленях.

И сразу - меня к телефону. Из 3го, комбат 8й Толочков. Нравится он мне здорово. Ростом невысок, отчаянный, и работе отдается сноровисто, все забывает. Хорошо с ним стрелять.

- Цели, цели давай! Скупаю.

- Ну подожди, скоро будут. Ждем привязки. Вот 418ю щупаем.

Без звуковой разведки - артиллерийскую цель и найдешь редко: только в притемке, по вспышке, прямым наблюдением - и если позиция орудия открытая.

И из 2го дивизиона - сразу же мне трубку. По голосу слышу - сам комдив, майор Боев.

- Саша, у нас серьезная работа сегодня, не подведи.

- Сейчас продиктуем несколько, но пока без привязки.

- Все равно давай. А вот что: вечером приходи ко мне в домик.

В штаб дивизиона, значит.

- А что?

- Там увидишь.

Я, было, наружу - а сюда, по ступенькам Юра Куклин почти бегом. И сует мне лист - со всеми нашими координатами.

- Если постоите - еще уточним.

- Спасибо, ладно. - И сразу передаю планшетисту Накапкину.

Он тут же набирает измерителем с точностью до метра по металлической косоразлинованной угломерной линейке - и на планшете с крупной голубой километровой сеткой откладывает икс и игрек для каждого звукопоста, исправляет прежние временные.

Теперь - заново соединяет точки постов прямыми, заново перпендикуляры к ним, а от них заново - ведет лучи на цели. Начиная с 415й все цели теперь пошли на новую откладку.

По ленте центрального прибора для каждого звукоприемника течет своя чернильная прямая. Там, на посту, колыханье мембраны отдается здесь, на ленте, вздрогоми записи. По разнице соответственных вздрогов у соседних приемников и рассчитывается направление луча на планшете. И в идеальных условиях, как ночью и в холодную сырость, эти три-четыре луча все сходятся в одну точку: то и есть - место вражеского орудия, диктуй его на наши огневые!

Но когда много звуковых помех да еще эта, от зноя, отгибающая звук инверсия - то все звуковое колебание расплывчато, искажено или слабо выражено, момент вздрогоа нечеткий, откуда считать? А не так угадаешь отсчеты - не так пойдут и лучи на планшете. И желанной точки - нету, растянулась в длинный треугольник. Ищи-свищи.

Кажется, так и сейчас. Ботнев нависает над Накапкиным, хмурится.

С Ботневым - тоже у нас немало за плечами. Шли, как обычно, на двух машинах. К назначенному месту не проехать иначе, как по этому проселку на Белоусово. Но стоп: воткнут у дороги шестик с надписью: "Возможны мины". Да блекло и написано как-то. А на боковые дороги переезжать - далеко отводят, даже прочь. Э-э-эх, была не была, русский авось. На полуторке Пашанина - рву вперед! Ногами давишь в пол - как бы удержать, чтоб мина не взметнулась, глазами сверлишь дорогу вперед: вот не под этой кочкой? вот не в этой разрыхленке? Прокатили метров триста - слышим сзади взрыв. Остановились, выскочили, противотанковая пешему не опасна, смотрим назад: у ляховской машины сорвало правое колесо, крыло, но остальное цело, и Ляхов, и в кузове бойцы - только Ботнев, с его стороны взорвалось, - тоже цел, но куда-то бежит, бежит по холмику вверх. И там очнулся в одичалом непонимании, полуконтуженный. (Но первая машина и дальше прошла, достигла места; остальное, что надо, донесли на руках.)

Не-ет, треугольник порядочный. Где-то, где-то там 415я, а не дается. А она явно - ста-пятидесяти, и не одиночное орудие. И - дальше надо ловить, но и из записей, взятых, суметь же высосать. Утыкаюсь в ленты 415й.

По размытым началам - отсчетов не взять, но искать какой другой - пичок, изгиб? - и взять отсчеты по ним?

На местных тут, в подвале, мы даже не смотрим, иногда прикрикнем, чтоб не галдели. А вот мальчишка, лет десяти, опять к ступенькам пробирается.

- Ты куда?

- Смотреть. - Лицо решительное.

- А огневой налет, знаешь такой? Не успеешь оглянуться - осколком тебя продырявит. В каком ты классе?

- Ни в каком, - втянул воздух носом.

- А почему?

Война - нечего и объяснять, пустой вопрос. Но мальчик хмуро объясняет:

- Когда немцы пришли - я все свои учебники в землю закопал. - Отчаянное лицо. - И не хочу при них учиться.

И видно: как ненавидит их.

- И все два года так?

Шморгнул:

- Теперь выкопаю.

Чуть отвернулись от него - а он по полу, на четвереньках, под столиком вычислителя пролез - и выскочил в свою деревню.

Меня - к телефону. Помощник начальника штаба бригады нетерпеливо:

- Какая цель от Золотарева бьет, дайте цель!

Да я же ее и ищу, дайте подумать. Мне бы легче - ткнуть иглой в планшет, они десяток снарядов сбросят и успокоятся. А при новом обстреле сказать - это, мол, новая цель. Но не буду ж я так.

Который раз объясняю ему про помехи, про самолеты, про инверсию. Потерпите, работаем.

А меня - к другому телефону. Из 3го дивизиона, начальник штаба. Тот же вопрос и с тем же нетерпением.

Этого, капитана Лавриненку, я хорошо узнал. Хитрый хохол. Один раз зовет пристреливать: кладем первый снаряд, корректируйте. - Сообщаю им разрыв: теперь надо левей двести метров и дальше полтора ста. - Кладем второй, засекайте. - Нету разрыва. - Как может быть нету? мы выстрелили. - Ах, вон что: записали мы разрыв, но на полкилометра правей. Куда ж это? Вы там пьяные, что ли? - Ворчит: - Да, тут ошиблись немножко, ну засекайте дальше. - И с одного же раза не поверил. Другой раз скрытно дал связь и к 1й звукобатарее, моя 2я, и обеим сепаратно: засекайте пристрелку! И - опять же сошлось у двух батарей. Теперь-то верит. Но вот теребит: когда ж координаты?

Да, кладет тяжелая, ста-пятидесяти, разрывы левее нас, между штабом бригады и штабом 3го - она и есть, наверно, 415я, но такой бой гудит, и по переднему краю и от двух артиллерий - не возьмешь: при каждой засечке цель на планшете ускользает куда-то, треугольник расплывается по-новому.

То и дело предупредитель запускает ленту. Одной неудачной сброшенной ленты ворох покрыл Дугину все ноги по колена. Уже большую катушку сменили.

А надо - кому-то поспать в черед. Федя, иди в избу, поспи. А я пока буду здесь, догрызать 415ю.

Енько с двумя трубками на голове, а балагур. Доглядел: там, глубже, какая ж девушка прелестная сидит.

- А тебя, красуля, как звать?

Кудряшки светлые с одного боку на лоб. И живоглазка:

- Искитея.

- Это почему ж такое?

Старуха с ней рядом:

- Какое батюшка дал. А мы ее - Искоркой.

- И сколько ж тебе?

- Двадцать, - с задором.

- И не замужем??

- Война-а, - старуха отклоняет за молодую. - Какое замужество.

Енько - чуть из трубки не пропустил, одну с уха отцепляет мне:

- Лейтенант Овсянников.

Сообщает Виктор с предупредителя. Ползком пришлось. Перетащил их назад немного. Тут два камня изрядных, за ними траншейку роем. Но все равно горячее место.

- А вообще?

- А вообще: справа на Подмаслово, наши танки два раза ходили.

Вклинились, но пока стоят. По ним сильно лупят.

- Ну ладно, хватит с тебя. Возвращайся, да отдохни. Еще ночь какая будет.

- Нет, еще с ними побуду.

Все-таки, других целей мал-помалу набирается. Прямо чтобы в точку- ни одной. Но по каким треугольник небольшой - колем в его центр тяжести и диктуем координаты обоим дивизионам. А 415ю - каждый раз по-новому разносит, не дается.

А эта Искорка - тоже непоседа, пробирается на выход. Платье в поясе узко перехвачено, а выше, ниже - в полноте.

- Ты - куда?

- А посмотреть, чего там у нас разобрато. Все хозяйство порушат.

- Да кто ж это?

- Ну да! И ваши кур лавят, - глазами стреляет.

- А где ваша изба?

Легкой рукой взмахнула, как в танце:

- А по этому порядку крайняя, к лозинам.

- Так это далеко, - удерживаю за локоть.

- А чего ж делать?

- Ну, берегись. Если подлетает - сразу наземь грохайся. Еще приду-

проверю, цела ты там?

Порх, порх, вертляночка, по ступенькам - убежала.

Изводим ленту. Слитный гул в небе, наших и ваших. Ах, рычат, извивгивают, на воздушных изворотах, кому достанется. И еще друг по другу из пулеметов.

Сверху, от входа, истошно:

- Где ваш комбат?

И наш дежурный линейный - сюда, в лестницу:

- Товарищ старший лейтенант! Вас спрашивают.

Поднимаюсь.

Стоит по-штабному чистенький сержант, автомат с плеча дулом вниз, а проворный, и впопыхах:

- Тааш стартенан! Вас - комбриг вызывает! Срочно!

- Где? Куда?

- Срочно! Бежимте, доведу!

И что ж? Бежим. Вприпуск. Пистолет шлепает по бедру, придерживаю.

Через все ухабы отводка проселочной к Выселкам. Во-он виллис-козел стоит на открытой дороге. Подъехать не мог? Или он это мне в проучку? Бежим.

Подбегаем. Сидит жгуче-черный полковник Айруметов.

Докладываюсь, рука к виску.

Испепеляя меня черным взором:

- Командир батареи! За такую работу отправлю в штрафной батальон!!

Так и обжег. За что?.. А и - отправит, у нас это быстро.

Руки по швам, бормочу про атмосферную инверсию. (Да никогда им не принять! - и зачем им что понимать?) А на постороннюю стрельбу вздорно и ссылаться: боевой работе - и никогда не миновать всех шумов.

Слегка отпустил от грозности и усмехнулся:

- А бриться - надо, старший лейтенант, даже и в бою.

Еще б чего сказал? но откуда ни возьмись - вывернулись поверх леска два

одномоторных Юнкерса. И как им не увидеть одинокий виллис на дороге, а значит - начальство? Да! Закрутил, пошел на пикировку!

А тот связной - уже в козле сзади. А зоркий шофер, не дожидаясь комбригова решения - раз-во-рот! раз-во-рот!

Так и не договорил полковник.

А первый Юнкерс - уже в пике. И, всегда у него: передние колеса - как когти, на тебя выпущенные, бомбу - как из клюва каплю вырывает. (А потом, выходя из пике - как спину изогнет, аж дрожит от восторга.)

Отпущен? - бегу и я к себе. И - хлоп в углубинку.

Позади - взр-р-ыв!! Оглушение!

Высунулся, изогнулся: виллис у-дул! у-драпал, во взмете дорожной пыли!

Но - второй? Второй Юнкерс - продолжил начатый круг - и прямо же на меня? Да ведь смекает: у виллиса стоял - тоже не рядовой? Или с досады, в отместку?

Думать некогда, бежать поздно - и смотреть кверху сил нет. Хлопнулся опять в углубину, лицом в землю - чем бы голову прикрыть? хоть кистями рук. Неужели ж - вот здесь?.. вот так случайно и глупо?

Гр-р-ро-охот! И - гарь! Гарью - сильно! И - землей присыпало.

Цел?? Они-таки часто промахиваются. Шум в голове страшный, дурная голова.

Бежать! бежать, спотыкаясь по чертовым этим ухабинам. Да еще - на подъем.

Как бы и Выселки не разбомбили, а у нас тут все линии веером. Да и погреб ли выдержит?

Нет, отвязались Юнкерсы: там, наверху, своя разыгрывается жизнь, гоняются друг за другом, небу становится не до земли.

А от слитного такого гула - и вовсе ничего не запишешь. Иди в штрафбат.

Соседняя батарея семидесяти-шести - снимается из Выселок, перетягивают ее вперед, пожарче.

Ох, и гудит же в голове. Голова - как распухла, налилась. Да и сама же собой: ото всего напряженья этих дней, оттого, что в сутках не 24 часа, а 240.

Но сверх всех бессонниц и растет в тебе какое-то сверхсильное настроение, шагающее через самого себя, - и даже легкоподвижное, крылатое состояние.

- Михаил Лонгиныч, отдайте мне все ленты по 415й, я сам буду искать, а вы - остальные.

Послал Митьку принести мне мой складной столик, еще есть, сверхштатный. Поставил его близ погреба, в тенечек под ракитой.

- Табуретку найди, из какой избы.

Притащил мигом.

Сижу, разбираюсь в лентах. Думаю.

Уставный прием: снимать отсчеты по началу первого вздрога каждого звукопоста. Но когда начала размыты, не исправишь, - научились мы по-разному. Можно сравнивать пики колебаний - первый максимум, второй максимум. Или, напротив, минимум. Или вообще искать по всем пяти колебаниям однохарактерные места, изгибы малые - и снимать отсчеты по этим местам.

Делаю так, делаю этак, - а Митька таскает ленты в погреб, на обработку. Когда треугольник в пересечениях уменьшается - Накапкин зовет меня смотреть планшет.

Между тем 2й дивизион требует от нас корректировки. Близко справа стали ухать пушки 4й и 5й батареи.

Мы, сколько разбираем, выделяем их разрывы из других шумов и диктуем координаты. Они доворачивают - мы опять проверяем.

С 5й батареей Мягкова все ж умудрились пристрелять и покрыть 421ю. Звонит с наблюдательного, доволен, говорит: замолчала.

И - какая ж благодарность к прилежному вычислительному взводу.

Белые мягкие руки Липского - на ленте, разложенной вдоль стола.левой

придерживает ее, правой, с отточенным карандашом, как пикой, метит, метит, куда правильно уколоть, где вертикальной тончайшей палочкой отметить начало вздрога. (А бывает - и фальшивое. Бывает - и полминуты думать некогда, а от этого зависит лучший-худший ход дела.)

Сосредоточенный, с чуть пригорбленными плечами Ушатов прокатывает визир по линейке Чуднова, снимает отсчет до тысячных долей.

Вычислитель Фенюшкин по таблицам вносит поправки на ветер, на температуру, на влажность (сами ж и измеряем близ станции) - и поправленные цифры передает планшетисту.

Планшетист (сменил Накапкина чуткий Кончиц), почти не дыша, эти цифры нащупывает измерителем по рифленным скосам угломера. И - откладывает угол отсчета от перпендикуляра каждой базы постов. Сейчас погонит прямые - и увидим, как сойдется.

И от совестливой точности каждого из них - зависит судьба немецкой пушки или наших кого-то под обстрелом.

(А Накапкин, сменясь, пристроился писать, от приборных чернил, фронтovou самозаклейную "секретку" со страшной боевой сценой, как красноармейцы разят врага, - то ли домой письмо, то ли девочке своей.)

А наши звукопосты пока все целы. Около Волкова была бомбежка, но пережили, вот уже и вкопаны. Два-три порыва было на линиях, все срастили.

У сухой погоды свое достоинство: провода наши, в матерчатой одежке, не мокнут. Резина у нас слабая, в сырость - то заземление, то замыкание. А прозванивать линии под стрельбой - еще хуже морока. Немцы этой беды не знают: у них красно-пластмассовый литой футляр изоляции. Трофейный провод - у нас на вес золота.

Между тем зовет меня Кончиц: моя 415я дает неплохое пересечение, близко к точке. Решаюсь. Звоню Толочкову:

- Вася! Вот тебе 415я. Не пристреливай ее, лучше этого не поправим, дай по ней налетик сразу, пугани!

Эт-то по-русски! Толчков шлет огневой налет, двадцать снарядов сразу,
по пять из каждой пушки.

Ну, как теперь? Будем следить.

Тут - сильно, бурно затолкло на нашем склоне. Смотрю: где верхние избы
нашей улицы и раскидистые ветлы группкой, куда Искитея побежала, - побочь
их, по тому же хребтику - рядом два десятка черных фонтанных взметов, кучно
кладут! Ста-пяти, наверно. Кто-то там у нас сидит?- нащупали их или сверху
высмотрели.

Хотя в небе - наши чаще. Вот от этого спину прямит.

В погреб сошел, говорят: трясенье было изрядное. А то уж средь баб
разговор: чего зря сидим? идти добро спасать. Теперь уткнулись.

Но - опять, опять нутряное трясение земли - это, знать, еще ближе, чем
тот хребтик.

Дугин нервно, отчаянно орет вверх:

- Второй перебило!.. И третий!! И четвертый!!

Значит, тут - близко, где линии расходятся. А с постов - все три
погонят линейных зря, не знают же.

Меня ж хватает сзади, тянет бригадный телефонист. Почти в ужасе:

- Вас с самого высокого хозяйства требуют!

Ого! Выше бригады - это штаб артиллерии армии. Перенимаю трубку:

- Сорок второй у телефона.

Слышно их неважно, сильно издали, а голос грозный:

- Наши танки остановлены в квадрате 74-41!

Левой рукой судорожно распахиваю планшетку на колене, ищу глазами: ну
да, у Подмаслова.

- ...От Козинки бьет фугасными, ста-пятидесяти-миллиметровыми... Почему
не даете?

Что я могу сказать? Выше прясла и козел не скачет. Стараемся! (Опять
объяснять про инверсию? уж в верхнем-то штабе ученом должны понимать.)

Отвечаю, плету как могу.

Близко к нам опять - разрыв! разрыв!

И сверху крик:

- Андрея-а-ашина!!

А в трубку (левое ухо затыкаю, чтоб лучше слышать):

- Так вот, сорок второй. Мы продвинемся и пошлем комиссию проверить немецкие огневые. И если окажутся не там - будете отвечать уголовно. У меня все.

У кого - "у меня"? Не назвался. Ну, не сам же командующий артиллерией?

Однако в горле пересохло.

За это время - тут большая суматоха, кричат, вниз-вверх бегут.

Отдал трубку, поправляю распахнутую обвислую планшетку, не могу понять: так - что тут?

Енько и Дугин в один голос:

- Андреяшина ранило!

Бегу по ступенькам. Вижу: по склону уже побежали наверх Комяга и Лундышев, с плащпалаткой. И за ними, как прихрамывая, не шибко охотно, санинструктор Чернейкин, с сумкой.

А там, метров сто пятьдесят - да, лежит. Не движется.

А сейчас туда - повторный налет? и этих трех прихватит.

Кричу:

- Пашанина ищите! Готовить машину!

Счет на секунды: ну, не ударьте! не ударьте! Нет, пока не бьют, не повторяют.

Дугин, не по уставу, выскочил от прибора, косоватое лицо, руки развел:

- Таащ стартенант! Тильки два крайних поста осталось, нэчого нэ можем!

Добежали. Склонились там, над Андреяшиным.

Ну, не ударь! Ну, только не сейчас!

В руках Чернейкина забелело. Бинтует. Лундышев ему помогает, а Комяга

расстиляет палатку по земле.

Ме-едленно текут секунды.

Пашанин прибежал заспанный, щетина черная небритая.

- Выводи машину. На выезд.

А там - втроем переключивают на палатку.

Двое понесли сюда.

А Чернейкин, сзади, еще что-то несет. Сильно в стороне держит, чтоб не
измазаться.

Да - не ногу ли несет отдельно?..

От колена нога, в ботинке, обмотка оборванная расхлестнулась.

Несут, тяжело ступая.

К ним вподмогу бегут Галкин, Кропачев.

И Митька за ними: тянет паренька глянуть близко на кровь.

И - тутошний малец за ним же, неумеа.

Про Галкина мне кто-то:

- Да он чуть замешкался. И он бы там был, его линия - тоже.

А Андреяшин, значит, сам вырвался, птицей.

Вот - и отлучился в Орле... Посетил...

Без ноги молодому жить. И отца-матери нет...

Подносят, слышно, как стонет:

- Ребята, поправьте мне ногу правую...

Ту самую.

Обинтовка с ватой еле держит кровь на культе. Чернейкин еще
прикладывает бинта.

Лундышев: - Он и еще ранен. Вон - пятна на боку, на груди.

Осколками.

Вот и отлучился...

Лицо смугленыша еще куда темней, чем всегда.

- Ребята, - просит, - ногу поправьте...

Оторванную...

Неровное, мягкое, болезненное - трудно и поднять ровно. И в кузов трудно.

Капает кровь - на землю, на откинутый задний борт.

- Да и... - киваю на ногу, - ее возьмите! Кто знает, врачам
понадобится.

Взяли.

- Теперь, Пашанин: и скоро, и мягко!

По тем ухабам как раз.

Да Пашанин деликатный, он повезет - как себя самого раненого.

И двое в кузове с Андреяшиным.

Закрыли борт - покатила машина.

Хоть и выживет? - ушел от нас.

А к Орлу его - прямо и идем, прямехонько в лоб.

Хмуро расходились.

Да, вспомнил: уголовно отвечать.

А Дугина - служба томит:

- Таащ старштенант! Так трэба сращивать? Як будэмо?

И линейные - сидят на старте, готовые. Со страхом. Тот же и Галкин, по
случайности уцелевший.

А там - по нашим танкам бьют.

Кого беречь? Там - беречь? Здесь - беречь?

- По-до-ждите, - цежу. - Маленько еще подождем.

И - как чувствовал! Выстрелы почти не слышны, и от шума, и от зноя- а
всей толчеей! - полтора десятка ста-пяти-миллиметровых - опять же сюда! где

Андреяшина пристигло, и еще поближе - черные взметы на склоне!

Одну избу - в дым. С другой - крышу срезало.

- Не говорите им там, в подвале.

Вот так бы и накрыли, когда тело брали.

Митька - снизу, от Дугина, ко мне с посланием:

- И предупредитель перебило! - так кричит, будто рад.

Так и тем более, извремим.

Как дедушка мой говорил: "Та хай им грець!" Одно к одному.

За всю армию - не мне отвечать. Да и командующий не ответит. А на мне - вот эти шестьдесят голов. Как Овсянников говорит: "Надо нам людей берегти, ой берегти".

Еще сождем.

Курю бессмысленно, только еще дурней на душе.

И - какое-то отупение переполняющее, мозг как будто сошел с рельсов, самого простого не сообразишь.

Прошло минут двадцать, больше налета нет. Теперь послал Галкина и Кропачева - чинить. Раз перебиты все сразу - так тут и порывы, при станции, на виду. На боках у них по телефону - прозванивать, проверять.

А к телефонам нижним - меня опять звали.

Комбатам соседним объяснил: посты перебиты.

Толочков считает: 415ю подавили, не проявляется.

А налета - так больше и нет. Починили. Где и кровь Андреяшина.

Вернулись. Ну, молодцы ребята.

Только звуки немецких орудий - все те ж нечеткие. Шпарит солнце- сил нет. Облака кучевые появились, но - не стянутся они.

Ботнев сменил меня на центральной.

Вернулся Овсянников. Умучился до поту, гимнастерка в темных, мокрых пятнах. Про Андреяшина уже по проводу знал. На возврате и он попал под налет. Перележал на ровнине, ничем не загородишься. Предупредителю, хоть и за камнями теперь, - тяжело, головы не высунешь.

И у самого - пилотку потную снял - голова взвихрена, клоки неужелные, дыбятся. А порядливо так рассказывает обо всем, с володимирским своим оканьем.

- Иди, Витя, поспи.

Пошел.

А текут часы - и ото всего стука, грюка, от ералаша, дерганий твое
сверхсильное напряжение начинает погружаться в тупость. Какой-то нагар души,
распухшая голова - и от бессонницы, и от взрыва не прошло, голову клонит,
глаза воспалены. Как будто отдельные части мозга и души - разорвались,
сдвинулись и никак не станут на место.

А к ночи надо голову особенно свежую. Теперь пошел спать и я, в избу.
На кровати - грязное лоскутное одеяло, и подушка не чище. И мухи.

Положил голову - и нет меня. Вмертвь.

Долго спал? Солнце перешло сильно на другой бок. Спадает.

Ходом - к станции.

А тут - Пашанин с котелком, после обеда.

Вернулись?

Он - соболезым, траурным голосом, как сам виноват:

- В медсанбате сразу и умер. Изрешеченный весь.

Вот - так.

Так.

Спускаюсь к прибору, о работе узнать.

Все наши - угнетены. Уже другая смена за всеми столами.

И бабы не галдят: покойник в доме.

- На 415ю нет похожей?

Кончиц от планшета: - Нету такой.

За это время, оказывается, наши дважды крупно бомбили немецкий передний
край, и особенно - Моховое. А я ничего не слышал.

И порывы были там-сям, бегали чинить.

А Овсянников где?

На правые посты ушел.

Неутомный.

Что-то и дергать нас перестали.

Но отупенье - не проходит. Вот так бы не трогали еще чуть, в себе уравновеситься. И до темноты.

И обедать не стал, совсем есть не хочется.

А от Боева звонили, напоминали: в двадцать ноль-ноль ждет сорок второго.

Вот еще... Да тут километр с малым, можно и сходить.

Да уже скоро и седьмой час...

Как-то и стрельба вся вялая стала. Все сморились.

Не продвигаемся.

И самолетов ни наших, ни их.

Сел под дерево, может запишу что в дневник? От вчерашних цыган - не добавил ни строчки.

А мысли не движутся, завязли. И - сил нет карандашом водить.

За эти четыре дня? Не приспособлен человек столько вместить. В какой день что было? Перемешалось.

Вернулся Овсянников, рядышком на траву опустился.

Помолчали.

Об Андреяшине.

Молчим.

- А когда Романюк себе палец подстрелил, это в какой день было?

- Дурак, думал его так легко спишут. Теперь трибунал.

- Колесниченко хитрей, еще до наступления загодя сбежал.

- И пока с концами.

Пошли вниз к ручью, обмылись до пояса.

Ну, к вечеру. Солнце заваливает за наши верхние избы, за гребень, скоро и за немцев. наших всех наблюдателей сейчас слепит.

Полвосьмого. Часа через полтора уже начнется работа настоящая.

А что - полвосьмого? Что-то я должен был в восемь? Ах, Боев звал.

Пойти, не пойти? Не начальник он мне, но сосед хороший.

- Ну, Ботнев, дежурь пока. Я - на часок.

А голова еще дурноватая.

Дорога простая: идти по их проводу. (Только на пересечениях проводов не сбиться.)

Перенырнул лощинку, на ту возвышенную ровную улицу. В ней - домов с десяток, и уцелели, все снаряды обминули ее. И по вечеру, понадеясь, там и здесь мелькают жители, справляют хозяйственные дела, у когоч и животины есть.

А дальше - хлебное польце, картофельное. И склон опять - и в кустах стоит боевая дивизионная штабная машина, ЗИС, с самодельно обшитым, крытым кузовом. Видно, прикатил сюда травной целиной, без дороги.

У машины - комбат Мягков и комиссар дивизиона, стоят курят.

- А комдив здесь?

- Здесь.

- Что это он меня?

- А поднимайся, увидишь.

Да и им пора. По приставной лесенке влезает внутрь, через невысокую фанерную дверцу.

С делового серединного стола, привинченного, сняты планшет, карты, бумаги, все это где-то по углам. А по столу простелены два полотенца вышитых - под вид скатерти, и стоит белая бутылка неформенная, раскрыты консервы - американские колбасные и наши рыбные, хлеб нарезан, печенье на тарелке. И - стаканы, кружки разномастные.

У Боева на груди слева - два Красных Знамени, редко такое встретишь, справа - Отечественная, Красная Звезда, а медалек разных он не носит. Голова у него какая-то некруглая, как бы чуть стесанная по бокам, отчего еще добавляется твердости к подбородку и лбу. И - охватистое сильное пожатие, радостно такую и пожать.

- Пришел, Саша? Хорошо. Тебя ждали.

- А что за праздник? Орла еще не взяли.

- Да понимаешь, день рождения, тридцать без одного. А этот один - еще как пройдет, нельзя откладывать.

Комбат 4й Прощенков и ростом пониже, и не похож на Боева, а и похож: такая ж неотгибная крепость и в подбородочной кости и в плечах. Мужлатый. И - простота.

Да - кто у нас тут душой не прост? До войны протирался я не среди таких. Спасибо войне, узнал - и принят ими.

А Мягков - совсем иной, ласковый. При Боеве - как сынок.

Тут все фамилии - как вклеены, бывает же.

А комбат 5й - за всех остался на наблюдательном.

И душа моя грузнеет устойчиво: тут. Хорошо, что пришел.

К боковым бортам привинчены две скамьи. На них и спят, а сейчас как раз шестером садимся - еще начальник штаба, капитан.

Пилоток не снимая.

Пыльные мы все, кто и от пота не высох.

Боев меня по имени, а я его - "тащ майор", хотя моложе его только на четыре года. Но через эту армейщину не могу переступить, да и не хочу.

- Тащ майор! Если тосты не расписаны - можно мне?

Не когда шел сюда, а вот - при пожатых, при этом неожиданном застольи на перекладных, и правда, кто куда дойдет, где будет через год, вот и Андреяшин мечтал, - рассвободилось что-то во мне от целого дня одурения. Никакие мы с Боевым не близкие - а друзья ведь! все мы тут - в содружестве.

- Павел Афанасьевич! Два года войны - счастлив я встречать таких, как вы! Да таких - и не каждый день встретишь.

Я с восхищением смотрю на его постоянную выпямку и в его лицо: откуда такая самозабывчивая железность, когда сама жизнь будто не дорога? Когда всякую минуту вся хватка его - боецкая.

- И как вам такая фамилия выпала? - лучше не припечатает. Вы - как

будто вжились в войну. Вы - как будто счастье в ней открыли. И еще сегодня, вот, вижу, как вы по той колокольне били...

Рядом с тем хутором, где мы с Овсянниковым из-за колокольни голов поднять не могли, так и вижу: под тем же прострелом зажгли, догадальщики, ловкачи, рядок дымовых шашек. Заколыхалась сплошная серая завеса, но не надолго же! - выехал Боев сам с одной пушкой на прямую наводку. Оборотистый расчет, надо ж успеть: из походного положения - в боевое, зарядили, - успеть развидеть верхушку колокольни в первом же расее, и бах! перезарядили, и второй раз - бах! Сшиб! И - скорей, скорей опять в походное, трактор цеплять - и уехали. И немцы грянули налетом по тому месту - а опоздали. И - прикончился их наблюдательный.

- ...Для вас война - само бытие, будто вы вне боев и не существуете.

Так - дожить вам насквозь через всю...

Боев с удивлением слушает, как сам бы о себе того не знал.

Встали. Бряк-бряк стеклянно-железным, чем попало.

И - все занялись, подзажглись.

А водка после такого дня - о-о-ой, берегись!

Какие яркие, мохнатые дни! И - куда все несется?

Большое наступление! Да за всю войну у нас таких - на одной руке пересчитать. Крылатое чувство. Доверху мы переполнены, уже через край. А нам - еще подливают.

И опять встаем-чокаемся, конечно же - за Победу!

Мягков: - Когда война кончится - то сердце закатывается, представить.

Ну, и потекла беседа вразнобой, вперебив.

Боев: - Затронули нас, пусть пожалеют. Дадим жару.

Начальник штаба: - Нажарим им пятки.

Комиссар: - Эренбург пишет: немцы с ужасом думают, что ожидает их зимой. Пусть подумают, что ожидает их в августе.

Все с азартом, а - без ненависти, то - газетное.

- Попробуешь с немцами по-немецки, а они переходят на русский. Здорово изучили за два года.

- А вот: поймут ли нас, когда мы вернемся? Или нас уже никто не поймет?

- Но и представить, сколько еще России у них. Чудовищно.

- Почему Второго Фронта не открывают, сволочи?

- Потому что - шкуры, за наш счет отсиживаются.

- Ну все ж таки в Италии наступают.

Комиссар: - Капиталистическая Америка не хочет быстрого конца войны, прекратятся их барыши.

Я ему вперекос:

- Но что-то и мы слишком отклоняемся. От интернационализма.

Он: - Почему? Роспуск 3го Интернационала - это совершенно правильно.

- Ну, разве как маскировка, тактический ход. - И отклоняю: - Не-нет!

Мне больше нельзя, у меня сейчас самая работа начнется.

Прощенков рассказывает сегодняшний случай из стрельбы. Считает, что 423ю сокрушил: от того места - ни выстрела больше.

- А может она откочевала?

Да, вот еще про кочующие орудия. Как у немцев - не знаем, а нашему иному прикажут кочевать с орудием - так он, дурья голова, по лени с одного места бьет и бьет, пока его не расколпачут.

Да мало ли глупостей? А как стреляют наобум, чтобы только расходом снарядов отчитаться?

Бывает...

Прощенков: - К вечеру хорошо вкопались. Хоть бы эту ночь не передвигали.

Через оконца кузова уже мало света, зажгли аккумуляторную лампочку под потолком.

- А славная у нас штабная халабуда? - озирается Боев. - Как бы ее, старуху, в Германию дотянуть?

Стали перебирать, кто и сам не дотянул. Одного. Второго. Третьего. А четвертого засудили в штрафбат, там и убили.

Бывал я в компаниях поразвитей - а чище сердцем не бывало. Хорошо мне с ними.

- Да-а-а, и еще друг друга как вспомним...

Явственно раздался гнусный хрип шестиствольного миномета.

Завыли мины - и в частобой шести разрывов, в толкотню.

- Ну, спасибо, братцы, и простите. Мне пора.

И правда, снаружи уже сумерки. До темноты дойти, не сбиться.

Линии наши все целы.

Емельянов с предупредителя: - Вот теперь вкопаемся, как надо. Правда, немец ракеты часто бросает.

Они и нам, в Выселки, отвечивают то красным, то бело-золотистым, долгие.

Шестиствольный записали, но не так четко, минометы всегда трудно записывать. А вот пушка была, наверно семидесяти-пяти, одиночный выстрел, цель 428, - сразу хорошо взяли, в точечку.

Прибор - в порядке, все стрелки в норме. И ленты новый рулон заправлен. И чернила подлиты в желобочки под капилляры. И смена - выпалась, бодрая. Три маловольтных лампочки освещают всю нашу переднюю часть погреба. Белеют бумаги, посверкивает блестящий металл.

Двое дежурных линейных с телефонами на ремнях, с запасными мотками кабеля, фонариками, кусачками, изоляционной лентой - тоже тут. Вот кому ночью горькая доля: по одному концу придешь к разрыву, а найдешь ли второй, оторванный?

А в глубли погреба - темнота, дети спят, бабы тоже располагаются, лиц не видно. Но слышу по голосу - там батарейный мой политрук. Где примостился - не вижу, а разъясняет певуче, смачно:

- ...Да, товарищи, вот и церковь разрешили. Против Бога советская

власть ничего не имеет. Теперь дайте только родину освободить.

Недоверчивый голос: - Неуж и до Берлина дотараните?

- А как же? И там все побьем. И - что немец у нас разрушил, все восстановим. И засверкает наша страна - лучше прежнего. После войны хоро-ошая жизнь начнется, товарищи колхозники, какой мы еще и не видели.

Пошла лента. Это - предупредитель услышал.

А вот и посты: пишут.

И до нас донеслось: закатыстый выстрел. Ну, сейчас поработаем!

2

И вот через 52 года, в мае 1995, пригласили меня в Орел на празднование 50-летия Победы. Так посчастливилось нам с Витей Овсянниковым, теперь подполковником в отставке, снова пройти и проехать по путям тогдашнего наступления: от Неручи, от Новосиля, от нашей высоты 259,0 - и до Орла.

А в Новосиле, совершенно теперь не узнаваемом от того пустынно каменного на обстреливаемой горе, посетили мы и бывшего "сына полка" Дмитрия Федоровича Петрыкина - вышел к нам в фетровой шляпе, и фотографировались мы со всей его семьей, детьми и внуками.

Подземный наш городок на высоте 259,0 - весь теперь запахан, без следов, и не подступишься. А вблизи - лесистый овражек, где была наша кухня, хозяйство, и где убило невезучего Дворецкого (даже не за кашей пришел, а к санинструктору, с болячкой) - маленьким-маленьким осколочком, но в самое сердце. Тот двухлопастный овражек и лесок очень сохранились - по форме, да и по виду: ежегодная пахота не дала древесной поросли вырваться наружу из овражка.

Но что стало с урочищем Крутой Верх! Был он - версты на три длины, метров на пятьдесят глубины - слегка извилистый, как уверенная в себе река,

- и так проходящий по местности, что как раз и давал нам просторный, удобный и от наземных наблюдателей вовсе скрытый подъезд к самой передовой. Так что пешее, конное, тележное движение шло тут и весь день не прячась, а ночами - и грузовики со снарядами, снабжением, а к утру уходили в тыл или врывались носами в откосы оврага, прикрывались зелеными ветками, сетками. Зев Урочища, еще завернув, выходил прямо к Неручи - тут и был подготовлен, накопился прорыв нашей 63й армии, к 12 июля 1943.

Но как же Крутой Верх изменился за полвека! Где та крутизна? где та глубина? да и та цепкая твердость одерневших склонов и дна? Обмелел, оплыл, кажется и полысел, и жестких контуров нет - не прежнее грозное ущелье. А - он! он, родной! Но уж, конечно, ни следа прежних апарелей, землянок.

А за Неручью, на подъеме, шла тогда немецкая укрепленная полоса - да каково укрепленная! какие непробивные доты, сколько натыкано отдельно врытых бронеколпаков. И это, незабываемое: разминированный проход, тотчас после прорыва. Десятки и десятки убитых, наших и тех, наши больше ничком, как лежали, ползли, немцы больше вопрокидь, как защищались или поднялись убежать - в позах, искаженных ужасом, обезображенные лица, полуоторванные головы; немецкий пулеметчик в траншее, убитый прямо за пулеметом, так и держится. И местами - там, здесь- еще груды, груды обожженного металла: танки, самоходки - с красным опалением, как опалается живое.

И блиндажи у них не по-нашему, помнишь? Уж как глубоки! И где-то там, под десятью накатами, - окошечко, а за ним - цветочки посажены, и для того пейзажа вырыт туда еще и узкий колодец. А в блиндажах - какой-то запах неприятный, как псиный, - оказывается, порошок от насекомых. И - яркие глянцевые цветные журналы раскиданы, каких не бывало у советских, а в журналах - где про доблесть и честь, а где - красавицы. Чужой невиданный мир.

А как, чтоб на день единственный задержать наступление на Орел, бросили на нас - от зари и до заката - сразу две воздушных армии? Этого не забыть.

Ни на минуты не оставалось небо чистым от немецких самолетов: едва уходила одна стайка, отбомбься, - тем же курсом, на тот же круг, уже загрузивала другая. И видим: на участках соседей - то же самое. Непрерывная самолетная мельница - и так весь день насквозь. А где наши? - в тот день ни одного. От волны до волны едва успеваешь лишь чуть перебежать, где там разворачиваться. Все же я рыскал по Сафонову, куда бы станцию уткнуть. Перемежился в хилой землянке - а там трое связистов только-только открыли коробку американской колбасы, делят и ссорятся. Тоска! Убежал дальше. Через десяток минут возвращаюсь - той землянки уже нет, прямое попадание.

Но то - днями позже. А пока - в таком же джипе-козлике, в каком тогда наезжал на меня комбриг (конструкция за полвека не сильно изменилась), везут нас в Желябугские Выселки. В таком же джипе, но с твердой крышей, едут глава районной администрации и глава местной - долг гостеприимства.

Да ни на чем другом в Выселки, наверное бы, и не проехать. Дорога - из одних рытвин, хорошо, что закаменевшие, давно не было дождя. Не едем, а переваливаемся всей машиной с бока на бок, за поручни уцепясь.

Да! вот и склон, так и стоящий в памяти, он-то не изменился. Да наверху, на гребне, и ветлы же стоят, как стояли. И там - избы три около них. А сюда, книзу, уличный порядок сильно прорежен: какие избы - еще война убрала, какие - время долгое, новые не построились. Улица - уже не улица, избыными островками, и не дорога: средняя полоса ее заросла травой, остались от колеи - как две тропинки рядом.

А направо за лощиной, повыше, вторая улица - тянется сходно с прежней. Но и на ней что-то не видно жизни.

На открытом месте склона, сбочь и от дороги, стоит разбитая телега, на какой уже не поедешь: три колеса, одна оглобля на бок свернута, ящик разбит. И колеса обрастают молодой травой.

А центральная станция наша? Вот - тут бы должна быть, тут.

Но - нет кирпичного надземного свода, да и остатков ямы не видно. Все

кирпичи забрали куда? а яму засыпали?

Машину мы покинули, администраторы в своей остались, не мешают нам вспоминать.

А внизу - вон, пруд, приметливое место.

Спустились к пруду.

Берег залядел резучей, широколистой травой.

И - чья-то исхудалая лошадь одиноко бродит, без уздечки, как вовсе без хозяина. И кажется: печальная.

Отдельно стоит решетчатый скелет из жердей - под шалаш? И покосился.

Застоялая, как годами недвижимая вода. От соседней яркой майской зелени она кажется синей себя. На воде - бездвижная хворостяная ветка, присыпь листьев - значит, прошлогодних? таких новых еще нет. Никто тут не купается.

Через ручей - лава из горбыля. И торчат четыре-пять копыльев, руками перехватываться.

А вот - ландыши. Никому не нужные, не замечаемые.

Срываем по кисточке.

Медленно-медленно поднимаемся опять по склону, теперь - дальше, вверх.

Мимо той телеги.

Мимо Андреяшина...

Три избы кряду. Одна - беленая, почище. Две других - из таких уже старых, серых бревен, чем стоят? Изсеревшие корявые дранковые крыши. Можно и за сараюшки принять.

Откуда-то тявкает собачка слабым голосом. Не на нас.

Несколько кур прошло чередой, ищут подкормиться.

Людей - никого.

За теми избами - опять пустырь. На нем отдельно - даже и не сарайчик, наспех собран: стенки обложены неровными кусками шифера, покрыт листом жести - а уже покошен, и подперт двумя бревешками. Не поймешь: для чего, кому такой?

А в небе - какая тишь. Тут, может, и не пролетают никогда, забыт и звук самолетный. И снарядный.

А тогда - гремело-то...

На длинной веревке привязана к колу - корова, пасется. Испугалась, метнулась в бок от нас.

Подымаемся к самым верхним избам.

А тут, между двумя смежными березами, - перекладина прибита, как скамейка, еще и посредине подпорка-столбик. И на той скамеечке мирно сидят две старухи - каждая к своей березе притулясь, и у каждой - по кривоватой палке, ошкуренной. У обеих на головах - теплые платки, и одеты в теплое темное.

Сидят они хоть и под деревьями, а на березах листочки еще мелкие, так сквозь редкую зелень - обе в свету, в тепле.

У левой, что в темно-сером платке, а сама в бушлате, - на ногах никакая не обувь, а самоделка из войлока или какого тряпья. По-сухому, значит. А обглаженного посоха своего верхний конец обхватила всеми пальцами двух рук и таково держит у щеки.

У обеих старух такие лица заборозделые, врезаны и запали подбородки от щек, углубились и глаза, как в подъямки, - ни по чему не разобрать, видят они нас или нет. Так и не шевельнулись. Вторая, в цветном платке, тоже посох свой обхватила и так уперла под подбородок.

- Здравствуйте, бабушки, - бодро заявляем в два голоса.

Нет, не слепые, видели нас на подходе. Не меняя рукоположений, отзываются - мол, здравствуйте.

- Вы тут - давнишние жители?

В темном платке отвечает:

- Да сколько живы - все тут.

- А во время войны, когда наши пришли?

- Ту-та.

- А с какого вы года, мамаша?

Старуха подумала:

- На'б, осьмьсыт пятый мне.

- А вы, мамаша?

На той второй платок сильно-сильно излинял: есть блекло-синее поле, есть блекло-розовое. А надет на ней не бушлат, но из черного вытертого-перевытертого плюша как бы пальтишко. На ногах - не тряпки, ботинки высокие.

Отняла посошок от подбородка и отпустила мерно:

- С двадцать третьего.

Да неужели? - я чуть не вслух. А говорим: "бабушки, мамаша" - на себя-то забываем глядеть, вроде все молодые. Исправляюсь:

- Так я на пять лет старше вас.

А лицо ее в солнце, и щеки чуть розовеют, нагрелись. В солнце, а не жмурится, оттого ли что глаза внутрь ушли и веки набрякшие.

- Что-то ты поличьем не похож, - шевелит она губами. - Мы и в семьдесят не ходим, а полозиим.

От разговора нижние зубы ее приоткрываются - а их-то и нет, два желтых отдельных торчат.

- Да я тоже кой-чего повидал, - говорю.

А вроде - и виноват перед ней.

Губы ее, с розовинкой сейчас и они, добро улыбаются:

- Ну дай тебе Господь еще подальше пожить.

- А как вас зовут?

С пришипетом:

- Искитея.

И сердце во мне - упало:

- А по отчеству?

Хотя при чем тут отчество. Та - и была на пять лет моложе.

- Афанасьевна.

Волнуюсь:

- А ведь мы вас - освобождали. Я вас даже помню. Вот там, внизу, погреб был, вы прятались.

А глаза ее - уже в старческом туманце:

- Много вас тут проходило.

Я теряюсь. Странно хочется передать ей что-то же радостное от того времени, хотя что там радостное? только что молодость. Бессмысленно повторяю:

- Помню вас, Искитея Афанасьевна, помню.

Изборожденное лицо ее - в солнышке, в разговоре старчески теплое. И голос:

- А я - и чего надо, забываю.

Воздохнула.

В темном платке - та погорше:

- А мы - никому не нужны. Нам бы вот - хлебушка прикупить.

Тишина. Чирикают птички в березах. Доброе мягкое солнце.

Искитея, из-под набрякших век, остатком ослабевших глаз - досматривает меня, отчетливо или в мути:

- А вы что к нам пожаловали? Что ль, с каким возвестием?

Та, другая:

- Може, наше прожитбище разберете?

Мы с Витей переглядываемся. А - что в наших силах?

- Да нет, мы проездом. На старые места посмотреть приехали.

- А тут - и начальство ваше. Может, оно...

В темном - подсобралась:

- Иде?

- Да тут где-то.

Невдали звонко пропел петух. Петушье пенье, что б вокруг ни творись, -

всегда сочно, радостно, обещает жизнь.

Ну, а нам... нам что ж?.. Дальше?

Попрощались - пошли выше, через хребтик.

А сердце - ноет.

- Осталась наша деревня на голях, - окает Витя. - Как и была всю дорогу.

- Да, сейчас для людей не больше добьешься, чем когда и раньше.

Во все стороны открытое место. Вот и Моховое близко. Да и ближе него теперь позастроено.

А поправей, ко второй улице, - с пяток овец пасется. Без никого.

Присели на бугорочек. Смотрим туда, вперед.

- Во-он там предупредитель наш был. Как он уцелел тот день?

- Но ночью потом - здорово засекали. И давили много.

- А утром - опять нас сорвали.

- Суетилось начальство. Здесь бы - больше сделали, зачем к Подмаслову совали?

- В Подмаслово не поедем?

- Да нет, наверно. Времени не остается.

Сидим, солнышко с левого плеча греет.

- Помогать им - по одной не вытянешь. Весь распорядок в стране надо чистить.

А - кому? Таких людей - не видно.

Давно не стало их в России.

Давно.

Сидим.

- А какой же я дурак был, Витя. Помнишь - про мировую революцию?..

Ты-то деревню знал. С основы.

Витя - скромный. Его хоть перехвали - не занесется. И через какие строгости жизнь его ни протаскивала - а он все тот же, с терпеливой улыбкой.

- Вот там, поправей, отмечали тогда день рождения Боева. Говорил:
доживу ли до тридцать - не знаю. А до тридцати одного не дожил.

- Да, прусская ночка - была, - вспоминает Овсянников. - И какоеж
безлюдье мертвое, откуда бы наступленью взяться? Я через все озеро перешел
- и до конца ж никого, ничего. И тут - Шмакова убило.

- Как мы из того Дитрихсдорфа ноги вытянули? Бог помог.

Овсянников - теперь уже с усмешкой:

- А от Адлига, через овраг, по снегу - бегом, кувырком...

Смотрим: слева, в объезд Выселок, по без дороги, - сюда два наших джипа
переваливаются.

Забеспокоились, куда мы делись.

Оба администратора - в белых рубашках и при галстуках. Местный - куда
попроще, и куртка на нем поверх костюма дождевая. На районном - галстук
голубой, хороший серый костюм в редкую полоску - и ничего сверху. Лицо же -
широкое, сильно скуластое, с хмурким выражением. Волосы - смоляно-черные,
жесткие, густы-перегусты, и с черным же блеском на солнце.

Говорим: - Забросили их тут.

Районный: - А что от нас зависит? Пенсии платим. Электричество им
подаем. У кого и телевизоры.

А местный - это то, что прежде был "сельсовет" - видно, из здешних
поднялся, до сих пор в нем деревенское есть. Долговатый лицом, длинноухий,
волосы светлые, а брови рыжие. Добавляет:

- Есть и коровы, у кого. И курочки. И огород у каждой. По силам.

Садимся в джипы и - администраторы впереди - едем по грудкой дороге
через саму деревню, по нашему склону вниз.

Но что это? Четыре бабы тут как тут, пришли и стали поперек дороги
заплотом. И деда - с собой привели, для подпоры, - щуплого, в кепочке.

И с разных сторон - еще три старухи с палочками доковыливают. Одна -
сильно на ногу улегает.

И - ни души помоложе.

Значит, про начальство прознали. И стягиваются.

Ехать - нет пути. Остановились.

Чуть повыше андреяшинского места, шагов на двадцать.

Местный вылез:

- Что? Давно больших начальников не видели?

Перегородили - не проедешь. Уже шесть старух кряду. Не пропустим.

Вылезает и районный. И мы с Витей.

Платки у баб - серые, бурые, один светло-капустный. У какой - к самым глазам надвинут, у какой - лоб открыт, и тогда видно все шевеленье морщинной кожи. На плечо позади остальных - дородная, крупная баба в красно-буром платке, стойко стала, недвижно.

А дед - позади всех.

И - взялись старухи наперебив:

- Что ж без хлебушка мы?

- Надо ж хлебушка привозить!

- Живем одна проединая кажная...

- Этак ненадалеко нас хватит...

Сельсоветский смущен, да при районном же все:

- Так. Сперва Андоскин вам возил, от лавки.

В серо-сиреневом платке, безрукавке-душегрейке, из-под нее - кофта голубая яркая:

- Так платили ему мало. Как хлеб подорожал, он - за эту цену возить не буду. Целый день у вас стоять, мол, охотности нет. И бросил.

Сельсоветский: - Правильно.

Голубая кофта: - Нет, неправильно!

Мотнул головой парень:

- Я говорю, что - так было, да. А теперь, на отрезок времени, должен вам хлеб возить - Николай. За молоком практически приезжает - и хлеб

привозить.

- Так он тоже завсяко-просто не возит. Сперва молоко сдай - а на той раз хлеб привезу.

В темно-сером - наша прежняя, знакомая. Напряглась доглядеть, доуслышать: чего же скажут? выйдут ли решение какое?

В светло-буром:

- А кто молоко не сдает, тому как? Просишь: Коля, привези буханочку! А он: у меня зарплата - одна. У меня уже набрато, кому привезти.

В серо-клетчатом, с живостью:

- Мы, выселковские, вдокон пришли. Житьеца не стало, йисть нечего.

В капустном, маленькая:

- Конечно, к нам ездут нету...

Сельсоветскому - край оправдываться, скорей:

- А я у него всегда интересуюсь: Николай, ты возишь? Говорит - вожу.

Голубая кофта и подхватила, залоскотала:

- А вы - у нас поинтересовались? Когда-нибудь приехали сюда? Вы, председатель сельсовета, - хоть бы распронаединственный раз... С давних давен никого не было.

И поварчивают другие:

- Повередилось не до возможности...

- О нас и вспомятухи нет...

А бритый дед во втором ряду стоит молча, малосмысленно. То - жевал, а то - раздвинул губы, и так со ртом открытым.

Овсянников голову свою лысеющую опустил. Болит его деревенская душа.

- Минуточку, - спешит сельсовет, - а почему вы прямо сразу не сказали, как он возить не стал?

В капустном: - Не посумеем мы сказать.

Искитея: - Опасаемся.

Тут - вступил районный, сильным голосом:

- А я вам говорю: надо говорить. Вот боимся мы сказать Николаю, вот боимся Михал Михалычу, боимся сказать мне, а чего бояться?

Голубая кофта: - Да я б не побоялась, приехала. Да уж я - никуда, ехать. И дед мой тем боле никуда.

А в красно-буром как оперлась на палку левым локтем, согнула, к плечу кулак приложила, глаза совсем закрытые: "Не видать бы мне вас никого..."

- А я к вам, вот, разве не приехал? Я спрашивал Михал Михалыча: хлеб возят? Возят, каждый день. Почему же вы не говорили?

В серо-клетчатом, рукой рубя:

- Вот теперь молчанку нашу взорвало!

- Уж как измогаем, сами не знаем.

У нашей той, в темно-сером платке, руки причерненные, в кожу въелось навек и черные ободки вокруг ногтей, - руки сплелись на верху палки, так и стоит. Морщины, морщины - десятками, откуда стольким место на лице? Теперь - потухла, уставилась куда-то мимо, так и застыла.

Районный уже решил:

- Давайте договоримся так. Теперь целую неделю к вам будет ездить Михал Михалыч...

- Да кажеден - по что? Хоть через день ба...

- Да хлебушка хоть раз бы в три дни...

- Я не говорю, чтоб каждый день возил хлеб. Но в течение недели, вот, до праздника Победы, 50 лет, каждый день будет приезжать и проверять, как вы обеспечены.

(Только успевай записывать...)

- ...Мы его избрали здесь, голосовали за него в сельскую администрацию, так пусть он выполняет свой долг как глава местного самоуправления. Пусть хотя бы хлебом обеспечивает. Мы не говорим, чтоб он дома строил, дома - конечно уже нельзя сделать по нашей жизни.

- Дома-а-а... Где-е-е...

- ...А вода - у вас есть. Да вот - хлеб. Чтоб самое необходимое. Он обязан это сделать.

Стоном:

- Да хлебушек бы был - мы бы жили, не крякнули...

- Вся надея и осталась...

- А ржаной хлеб - он убористый...

Оправился и сельсоветский:

- Давайте договоримся так. Не только у вас будет хлеб, но каждую неделю автолавка будет приезжать.

Поразились бабы:

- Еще и автолавка на неделе? Ну-у-у!..

Тут в серо-клетчатом не зеваает:

- А вот и такая есть надоба. Давняя. Пока фронт воевал - мы тут, иные, и на фронт поработать успели...

Искитея: - От августа сорок третьего, как фронт прошел...

А серо-клетчатая - как помоложе других: веки не набрякшие, глаза открытые, серые, живые. Сыпет бойко, да только зуб в нижнем ряду мелькает единственный:

- Я, например, чуть не три года отработала на военном заводе. Город Муром, Владимирской области. Мы, значит, на кого работали? И праздников не знали, без выходных, без отпусков. Нам тогда что говорили? Ваш труд - будет наша победа, быстрее покончится война и упокоится страна. А почему ж вы нас забыли, которые трудились, а? Теперь даже пенсии меньше какой другой старухи получаем...

Районный пригладил чуб свой смоляной:

- Да, впервые в этом году вспомнили тех, которые работали в тылу. Вот я почти каждый день теперь вручаю юбилейные медали своим матерям. Они - до слез... Каждый день получают юбилейную медаль и плачут. Говорят, наконец-то нас вспомнили, потому что весь фронт вынесли на своих плечах. Вручную

пахали, сеяли, последние носки отдавали солдатам. А если вы действительно трудились, - согласно Указа вам нужно или документы найти, что вы трудились, или надо хотя бы двух свидетелей...

- Да вот нас тут двое и есть. Мы друг другу свидетели.

- Еще третью нужно.

- В Подмаслове есть.

- Если вы до 45го года работали в тылу больше шести месяцев и найдете документ или свидетельские показания - мы вам обязательно вручим медаль. И согласно медали получите льготы, которые положены.

А сельсоветский-то, оказывается, законы лучше знает. И - к районному, остереженно:

- К сожалению, я вас перебую. Значит, если только будет какая поправка, - а то сейчас в Указе свидетельские показания не берутся во внимание. И если в трудовой книжке нет отметки, то юбилейной медали не дают. Вот о чем мы подымали всегда...

Районный хмурится, слегка смущен:

- По-моему, поправки должны быть.

Серо-клетчатая - с новым напором:

- Как так?? Мы - военкоматом были мобилизованы и как военные девушки считались. Которы наши девушки уходили с работы - тех военный трибунал судил. Понимаете, какие мы были?

Искитея только кивает, кивает: - Да, да.

Сельсоветский: - Тогда надо делать запрос через военкомат.

Районный: - Да. Составим списки, официально сделаем запрос, пусть поднимают документы сорок третьего года. Такие вопросы очень многие возникают.

Вижу - Овсянникова аж перекошило: слушал-слушал, совсем голову повесил, и одной кистью держится за нее безнадежно.

А в капустном, маленькая, выступила, пока ей перебоя нет:

- А у меня, вот, есть медаль за военные годы. Конечно, у меня ее нет, но документ на нее есть, справный. И - льготы у меня какие, за свет половину плачу. Конечно, неведь какие еще мне могут быть положены. Поехала в правление, отвечают: колхоз у нас бедный, нету вам. И даже зярно мое осталось неполученное, председатель машины зярна не пригнал для пенсионеров.

- Льготы? Теперь - все заложено в районном бюджете. И через районный бюджет обязательно оплотим, кому чего отпускать за пятьдесят процентов. Но, конечно, я не могу каждый день у вас бывать...

- Это мы понимаем... - сразу в три улыбки.

И тут решила Искитея. И тем старчески-мягким, ненастойчивым голосом, как говорила со мной под березой:

- А вот мой муж был и участник войны. И инвалид. И льготы были. А как умер он - за все плачу безо льготы.

Подполковник Овсянников встрепенулся возмущенно. И, сильно окая:

- Должны быть! Все льготы, которые даны были вашему мужу, и если вы не вышли замуж за другого...

Искитее - самой дивно, губы в слабой улыбке:

- Да где-е...

- ...то все эти льготы сохраняются за вами! И неважно, когда он умер.

- А - восьмой год его нет...

- Ну, - встрепенулся районный, посмотрел на часы. - Вопросы, которые касаются вас, наших ветеранов, наших матерей, - я буду лично решать. Если не смогу я - тогда будем выходить на область. А Москвы - мы не затронем, не должны.

1998